

*Жизнь напоминает мне не что иное, как лоскутное одеяло,  
сшитое из разноцветных кусочков.*

*Ортега-и-Гассет «Эстетика в трамвае»*

## Предисловие

**О**сновой этого не совсем обычного полудокументального романа-эссе стали письма и стихи ныне известного легендарного поэта Х. Назову его Фомой Х., потому как ни одно из этих юношеских стихотворений не было опубликовано, они не известны никому, даже автор о них забыл, а письма, естественно, никто не читал, так как они адресованы мне, автору этого

---

<sup>1</sup> Первую публикацию осуществил литературный альманах «Глаголь»  
(Париж), 2021, № 13

правдивого повествования. Письма перемежались стихами, а стихи — бытовыми подробностями. Трудно догадаться по текстам, что эти стихи принадлежат Фоме Х. еще и потому, что та обстановка, тот уровень культуры и осведомленности, круг интересов автора, юноши из сибирского рабочего поселка, кажется, и не предполагали возникновения будущего культового поэта. Вся эта переписка происходила в течение семи-восьми лет, началась со школьных времен, когда нам было по четырнадцать-пятнадцать, с издания рукописного самиздатского журнала «Суматра» (№ 1 в 1966 году, за ним следовали другие номера, частично утерянные). Хотя слова «самиздат» мы и не знали («Хроника текущих событий» вышла годом позже), была просто потребность в таком предприятии. Мы же подражали авторам и литературным героям, не совсем отделяя авторов от их персонажей.

Переписка продолжилась во времени во все годы наших скитаний, вплоть до исчезновения в ней необходимости. Во время переписки мы сами становились персонажами того или другого литературного произведения и неимоверно подражали ему как в жизни, так и в стилистике писем. Все эти тексты — свидетельства давно ушедшей эпохи, причем для нас серой и невнятной, которая теперь кажется милой, а тогда — беспросветным и унылым прозябанием в рабочем поселке, вдалеке от того, что нам казалось «большой жизнью» и куда мы вскоре отчаянно устремились. А дальше были рабочие общаги, бараки, гостиницы, палатки, казармы, кубрики, съемные квартиры. Все вещи и книги помещались в одном рюкзаке, там же — письма и записные книжки. Многие не сохранились, стихи потеряны, а все, что есть, оказалось у меня почти случайно, словно «рукопись, найденная в сундуке». Они чудом нашлись в небольшой потрепанной папке, сохраненные моей матерью, и я их извлекаю в приблизительной последовательности. Читать такие письма — это как смотреть кино на старой выцветшей пленке, местами поцарапанной, склеенной как попало в местах порыва нерадивым кинщиком, смотришь, словно стоя на ходовом мостике, вглядываешься в далекий туманный берег, угадывая за смутными очертаниями знакомые места. Кому как, но я люблю смотреть старое кино. Есть люди, которые живут здесь и сейчас, а есть живущие вчера, сегодня и вечно. Вторые мне нравятся больше.

«Лоскутное одеяло» повествования грубо, на живую нитку сшито из разновеликих текстов. Это:

1. подлинные письма Х. (Фомы), носящие дневниковый характер, где он обращается к автору на «Вы», как к персонажу, и пишет, пожалуй, их скорей сам себе, а адресат ему нужен как собеседник, который умеет слушать, правильно слушать, с пониманием. И сам Фома предстает в этих текстах как персонаж, меняя личины, то кривляясь, то принимая суровые позы юродивого и бахнутого обличителя, то проповедника, а то человека, искренне не понимающего окружающую действительность, доводящую его до мыслей о суициде;

2. стихи, которые попадают и в текст писем, и просто приложены к письму — никому не известные стихи, полностью забытые автором и друзьями. Почти все они предназначались к публикации в очередном — втором, третьем и четвертом (утерянных) номерах нашего рукописного самиздатовского «нерегулярного литературно-художественного журнала “Sumatra”» («Суматра»). Количества этих текстов хватило бы на толстый томик стихов. Если бы такой томик вышел в свое время (1966–1974 годы), то Фома Х. еще до поступления в Литинститут и первых публикаций стал бы знаменитым русским лирическим поэтом. Дело в том, что спустя некоторое время Фома охладел к своему раннему творчеству, а одну из тетрадей («Желтая тетрадь») просто выбросил на помойку на моих глазах. И я, автор этого правдивого повествования, голубоглазый блондин высокого роста, полез в мусорный бак и достал ее. Фома хмыкнул иронично и вопросительно, а я злобно ответил, что лет через десять–двадцать, когда он станет достаточно знаменит, я их опубликую под другим именем, например Фома Х. Фома же на эту угрозу только глумливо рассмеялся в мое честное открытое лицо. Теперь, будучи человеком последовательным, я это обещание выполняю. Это часть стихов, остальные сохранились в письмах и в приложении к ним;

3. историческая справка. Параллельно нашей жизни шла другая жизнь и в СССР, и в мире. Об этих событиях мы мало что знали, так как та жизнь протекала совсем в другом измерении и в другой среде. Потому в тексте повествования приводятся отдельные даты;

4. некоторые примечания от лица автора этого ироничного повествования, скрывающегося под разными личинами, —

то полного отморозка Чёрного, то молодого писателя, то военного журналиста, а то и Чики, отвязного Чикиндролита, солдата удачи, служившего на Чёрном континенте. В повествовании использована часть этих текстов из давних записных книжек под названием «Фома. Инвалид детства» уже в машинописном виде, перепечатанных и предназначенных для публикации в том же журнале «Sumatra» для небольшого круга друзей. Проводя литературные параллели, Фома все это называл «Коноваль-Чукокал».

## Часть 1. ШКОЛА

### (р. п. Заринский. 1967 г.)

#### **События в мире. Историческая справка**

1967 год — лучший год в поп-музыке. Действительно, в этом году «Битглз» выпускает «Сержанта Пеппера», Джими Хендрикс дарит миру альбом «Are You Experienced?», «Пинк Флойд» покоряет Америку. А в Советском Союзе женщины сходят с ума от американского красавчика с гитарой Дина Риды, мужчины — от мини-юбок, молодежь — от ливерпульской четверки. Все танцуют твист и ходят в кино, преимущественно на комедии. Особенно популярны Наталья Варлей из «Кавказской пленницы» и Олег Стриженов, сыгравший лишенного всяческих чувств робота в картине «Его звали Роберт». В Израиле начинается и заканчивается Шестидневная война, председателем КГБ назначен Юрий Андропов, а суббота стала выходным днем.

9 октября 1967 года в Боливии убит латиноамериканский революционер, коммунист, команданте Кубинской революции Эрнесто Че Гевара.

12 октября 1967 года вышел закон «О всеобщей воинской обязанности».

«Все мужчины — граждане СССР обязаны проходить военную службу».

3 ноября 1967 года был пущен в эксплуатацию первый агрегат Красноярской ГЭС — первой электростанции на реке Енисей, которая входит в десятку крупнейших ГЭС мира.

4 ноября 1967 года в Москве начал вещание Останкинский телецентр с антенной башней высотой 533,3 метра.

Но все это происходило словно на другой планете.

Это было много лет назад, как покажется кому-то, а я скажу: нет, не много, это было вчера, или это было в прошлом году, есть много способов отсчета времени от секунды до часа, от часа до года, от года до века. И все это происходит одновременно, времени как бы нет, есть только необозримое будущее.

\*\*\*

Электрический ветер завязан пустыми узлами,  
и на красной земле, если срезать поверхностный слой,  
корабельные сосны привинчены снизу болтами  
с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.  
И как только в окне два ряда отштампованных ёлок пролетят,  
я увижу: у речки на правом боку  
в непролазной грязи шевелится рабочий посёлок  
и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку.  
Что с того, что я не был там только одиннадцать лет.  
У дороги осенний лесок так же чист и подробен.  
В нём осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин  
у ночного костра мне отлил из свинца пистолет.  
Я там умер вчера. И до ужаса слышно мне было,  
как по твёрдой дороге рабочая лошадь прошла,  
и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила,  
лошадиная сила вращалась, как бензопила.

Именно в непролазной грязи шевелился рабочий посёлок (р. п. Заринский<sup>2</sup>), а через дыру в боку кирпичного заводика мы проникали на свалку металлолома. А зачем нам свалка? Правильно, чтобы найти медные трубочки. А зачем нам медные трубочки? Правильно, чтобы сделать пистолет, именно пистолет, а не пугач,

---

<sup>2</sup> В 1979 году сорокинский район переименован в Заринский, административный центр перенесен в Заринск (бывший р. п. Заринский).

такой, чтобы к нему подходили патроны от мелкокалиберки. А всякие патроны продавались в охотничьем магазине, там продавался и порох, и капсюля, и пыжи, и одностволки, и все то, что нам было крайне необходимо в возрасте четырнадцати лет.

## **Весна на Заринской улице. Из кино**

В результате прихода весны,  
в результате гудка парохода  
изменились системы подхода  
к тем материям, что не слышны.  
В оглушённом объёме реки  
и в параллелепипедах зданий,  
а систему домашних заданий  
заменяли кормленьем с руки.  
И на пол перейдя со стены,  
так легко, как с катода к аноду,  
длилась закономерно погода,  
изменив освещенье комода  
и его допотопные сны.  
И рассчитанным точно толчком,  
как ударом бильярдного шара,  
всё сместилось,  
и выплыл закон,  
что довольно глазеть из окón  
или сопровождаться хлопком  
отлетанию шариков пара.

Когда человек рожден, растет и вырастает в том минимуме, в котором мы росли с приятелями, как и все наши сверстники, чуть лучше, чуть хуже, но предельно просто, то весь остальной мир кажется сказкой, в нее принято верить, но она никак себя не проявляет, разве только в редких просмотренных фильмах, да в прочитанных книгах. А вырастая, он соотносится с окружающими персонажами его детства и, сравнивая, соотнося себя с ними, начинает определять свое место в этом небольшом мире, а затем уж примеряет его к другим мирам, в том числе иным...

А были еще радиоточки, никогда не выключающийся радиоприемник, нет, не с антенной, а подключенный к специально проведенным проводам, которые тянулись по столбам ниже электрических. С внешним миром мы были связаны именно так: радиоточка, книги, редкое кино. Остальная информация доходила в виде устных рассказов, анекдотов, мифов и легенд. Из этих апокрифов и складывалось представление не только о внешнем мире, но и об истории, о войне, географии, о правильных поступках, о героизме, врагах, родине, любви, сексе, преступлениях и обо всем том, что нас не касалось в нашей обыденной жизни.

\*\*\*

Быть может, я себя всю жизнь обманывал,  
упрятав свою душу под засов.  
Быть может, непроглядными туманами  
прикован я к бездонию лесов.  
И пусть мне имя дали ночью зимнею,  
когда я в жизнь входил, как в новый кадр,  
в лесу я просто человек без имени  
и никакой совсем не Александр.  
Но пусть тогда меня простят луга,  
леса и травы в мимолетных росах  
за то, что я им очень долго лгал.  
Пускай простят. Ведь я же не нарочно.

Хотя кино нас не увлекло, его просто почти не было, до нас доходили те фильмы, которые кто-то отправлял в самые беспросветные районы. А какие, до сих пор вспомнить не могу, тем более мы с приятелями имели обыкновение войти в зал, посмотреть первую часть и, пока перезаряжалась вторая, так как аппарат был один, включался свет, хм, рекламная пауза, когда пацаны швыряли друг в друга шапками, обменивались щелбанами и подзатыльниками, мы покидали зал, не приобщившись к киноискусству. (Хотя в это время в стране где-то были сделаны фильмы, оставившие след в истории кино: «Свадьба в Малиновке», «Интервенция», «В огне брода нет», «Седьмая пуля», «Ася Клячина».) Это смотрели уже спустя несколько лет...

Кино долго оставалось для нас загадкой, вернее, кино для нас не существовало, кроме некоторых отдельных фильмов: военных, затем, кажется, «Гений дзюдо», индийских фильмов, от которых воротило, ни один из них не остался в памяти, так как, лишь выключался свет, в темноте ярче экрана светились коленки подружек, их руки с тонкими пальчиками, их прекрасные светлые лица с сияющими глазами, устремленными на экран.

Годам к четырнадцати мы начали как-то самоопределяться, приобретать, вернее, выявлять те черты, которые присущи только тебе одному, и сравнивать их с ровесниками, со взрослыми, родителями, соседями, девочками, девушками, женщинами. А это дело нелегкое — соотноситься, соприкасаться с другими людьми, потому в этом возрасте все так напряжены и агрессивны, идет защита самого себя порой от самого себя.

\*\*\*

*Сестре Т.*

Пустынна ночь. И ночь светла.  
И нужно жить светло и сложно,  
чтобы возможность в невозможность,  
чтоб правда в ложь не перешла.  
А мысль о лёгкости — как мыс,  
где ветром выжженные травы,  
и мы сейчас уже не вправе  
драпироваться в эту мысль.  
Она мне с лёгкостью далась,  
но наслажденье есть иное:  
чтоб ощущать вот эту власть  
ежеминутно над собою.  
Вот эту связь со всем живым и  
неживым, и очень дальним,  
со всем забытым и недавним,  
и с тем, что будет впереди.  
Я не себе принадлежу,  
и снова, снова вечер каждый  
я всё боюсь, что очень важный



какой-то вечер прогляжу.  
Как мне сейчас... Вопрос не в том.  
Мне может быть светло и плохо.  
Но я ни выдохом, ни вдохом  
не ограничу тот объём,  
где мы вдвоём, где полумгла  
нас поучает осторожно,  
чтобы возможность в невозможность,  
чтоб правда в ложь не перешла.

**1966 год. Журнал «SUMATRA»  
(«СУМАТРА»<sup>3</sup> № 1)**

Идея издания собственного журнала возникла естественным образом, так как мы в свои четырнадцать лет мнили себя не только литературными персонажами, но и крупными деятелями литературы. Это был у нас самодеятельный театр для самих себя и окружающих. Началось все с издания газеты, стенгазеты, но не санкционированной, а такой, какую хотели мы. Мы ее издали, со стихами и рисунками, шутками и эпиграммами. Это был вызов и выпендраж. Результат оказался неожиданным, ее сорвал со стены сам директор школы, Малышев, пришел в ярость и вызвал нас к себе в кабинет. Тут я оказался главным ответчиком, и он достаточно убедительно пояснил, что такого рода самоуправство есть не что иное, как караемый законом «самиздат». Знать мы не знали и не хотели об этом. Персонально автора этих строк он справедливо обвинял в хулиганстве, отрицании роли комсомола, а может даже партии. Вот до таких политических претензий нам было очень далеко. Нам

---

<sup>3</sup> Сумáтра, индон. Sumatra, малайск. Sumatera, ачех. Ruja, Sumatra — остров в западной части малайского архипелага, в группе Больших Зондских островов, с прилегающими малыми островами. Является частью Индонезии. Суматра — шестой по величине остров в мире. Название острова происходит от санскритского слова samudra — «океан», или «море».

ведь было глубоко (далеко) на это плевать. Складывалась ситуация, когда наивные шалости именовали взрослыми намерениями. (Директор, Малышев А. А., прибыл из славного города Ленинграда при совершенно загадочных обстоятельствах. Он был человеком совсем не похожим ни на кого. Седой красавец с военной выправкой, приятной упитанностью, благородными манерами. Симпатичный человек с хорошей домашней библиотекой.) Из школы нас не выгнали, дело спустили на тормозах. Но тем не менее страсть к издательству нас не покинула, и вскоре мы стали готовиться к ее реализации. Но не было денег на фотоаппарат — какой журнал без иллюстраций? Уже было придумано название «Суматра», литературно-художественный журнал с иллюстрациями и фотографиями. Следовательно, нужен фотоаппарат! Потребовались деньги, и их нужно было заработать...

...добрый человек, кажется, по профессии прораб, Виктор Емельянович, отец приятеля Фомы, подбросил нам работу. Нужно было разгрузить железнодорожную платформу с кирпичом, это стоило 25 рублей (за срочность!). Стояло жаркое лето тысяча девятьсот шестьдесят лохматого года, нам с товарищем по четырнадцать лет. Я-то был достаточно физически развитым парнишкой, в отличие от приятеля Фомы, но дух его был поистине титаническим. Разгрузив только половину платформы, съев хлеба с салом, мы тут же почувствовали, что смертушка подглядывает за нами из-за каждого куста, из-за каждого вагона в тупике, где происходила срочная разгрузка строительных грузов. «Но в нем томительный недуг развил тогда могучий дух его отцов, без жалоб он...» Дальнейшая разгрузка была страшной каторжной работой. Приятель буквально ползком подтаскивал кирпичи, а когда оставалась их всего пара сотен, он просто упал и только шевелил ногами и руками, словно продолжая работу. Неимоверными усилиями, не помня себя, я выбросил последнюю сотню кирпичей. Рукавицы, брезентовые «верхонки», стерлись в лохмотья, и руки у меня, как у палача, были в крови. Я вытер их о штаны и взял ими те 25 рублей у довольного нашей работой прораба, ради которых мы ломались. Теперь фотоаппарат, «Смена-8», будет! И он стал у нас, хотя и пришлось ехать за ним в Барнаул. Вскоре мы приступили к созданию своего журнала под названием «Суматра».

Ну, а как еще назвать? Суматра — это далеко, это в каких-то загадочных эбэнях, а там все не так, там классно, Суматра — это мечта. Несбыточная и далекая.

И вот я, лирический герой этого правдивого повествования, открываю старый потертый дипломатический портфель и извлекаю из него чудом сохранившийся рукописный журнал. Он потрепан, он даже снимался в документальном фильме Коли Макарова о поэтах-метафористах, но листы его нисколько не пожелтели, он выглядит, словно мы его сделали поза-позавчера. Только он уменьшился в исторической перспективе, подтвердив миф о шагреновой коже.

Первый раздел: «Поэзия», в качестве дебютанта мы представляем Ивана Безена (ударение на первый слог), на самом деле Ваньку Безенчука, которого мы заставили написать стихи, убедив его, что он может стать поэтом, потому что у него нос, как у Ахматовой. Стихи никакие, но много, есть куда расти. Вырос в приличного ударника-экскаваторщика, отца пятерых детей.

Следующий тоже горбонос, похож на француза, лет тринадцати, Анатолий Жан (Ажан). В предисловии о нем сообщили следующее: «Предельный лаконизм, острота и живость восприятия — отличительная черта творчества А. Жана как поэта делает его стихи особенно привлекательными. Печатается А. Жан впервые. Сейчас молодой поэт работает над романом в стихах». Ага! Сел по малолетке, но погонялово прилипло: «Ажан».

А вот и стихи самого сопредседателя, со-самоиздателя, Фомы. Самые первые стихи, написанные сходу, без предварительных ученических проб, а упоминание об «увесистой клади стихов» приведено исключительно для солидности:

\*\*\*

Я никуда не тороплюсь,  
мне свет луны, как в горло нож.  
По тихим улочкам пройдусь,  
к кому-то загляну в окно.  
Мне свет луны, как в горло нож,  
меня её лучи казнят.

Толпа выходит из кино,  
и нет ей дела до меня.  
По тихим улочкам пройдусь.  
Пройдусь вдоль жёлтых окон в ряд.  
Из этих окон мне вослед  
ничьи глаза не поглядят.

## **Зима**

Наступила зима  
на соседнего дома стропила.  
Наступила.  
Наступила на поля и деревья,  
луга и дома.  
Наступила.  
Облетевший кустарник  
в хрупкий, будто печенье, наст утопила.  
Наступила.  
Всё бело: на дворе, за двором, на степи ли.  
Наступила зима.

## **Разноцветные звёзды**

Луна бредёт в изнеможении,  
роняет свет на города,  
и среди ветвей нагромождений  
мигает синяя звезда.  
За ней, как будто порождение,  
как продолжение следа,  
среди облаков нагромождений  
плывёт зелёная звезда.  
И вновь, когда восток в брожении  
и пробуждении, тогда  
над горизонтом — продолжением  
выходит красная звезда.

## Забытые стихи

Листаю я забытые тетради,  
моих стихов увесистую кладь,  
лишь скуки из-за и забавы ради  
я открываю каждую тетрадь.  
Читаю я забытые стихи,  
читаю то, что было только завязь.  
И вижу я — не так они плохи,  
и неплохими даже показались.  
Чуть-чуть, быть может, шевельнётся зависть,  
но я держу увесистую кладь,  
держу я то, что только — завязь,  
и кажется, что я сжимаю клад.

\*\*\*

И не надо мне мыслей высоких,  
тихо сыплет во мне листопад.  
Мне бы жить, питаться осокою  
и смотреть, как горит закат.  
Я смотрел бы, как солнце раздавливается  
о подавшийся горизонт,  
я смотрел бы и тихо радовался  
под неслышный деревьев звон.  
И, прижавшись к бидонам тёплым,  
ощущая коровью плоть,  
я бы в кузове трясся тёмном,  
в бок вбирая коровье тепло.  
И в подпрыгиваниях и вздрагиваниях  
ошалевшего грузовика  
я б смотрел, как на небе разламывается  
убежавший с цепи закат.

## Ночная картинка

Занавеска на окне —  
призрачно и бело.  
Чёрный тополь в тишине  
шепчется несмело.  
Ночь тепла и глубока,  
темнотою тлеет.  
На подоконнике рука  
синезеленеет.  
Ветер чуть шевелит  
на стене узоры,  
Будто в лунной пыли,  
призрачные шторы  
ходят взад и вперед,  
словно в разговоре.  
И большая луна  
стоит на заборе.

Далее следуют стихи малолетнего Юрки Макусинского про город Нефтеград, куда за длинным рублем уехали его мать и отчим. После сотрудничества с нашим журналом Юра не сел по малолетке, хотя все предпосылки для того были. Детство свое он провел в дружбе со старшими, Фомой и полным отморозком Чёрным Коном, которые его, как беспризорника, брали с собой в походы и придумывали ему различные испытания, требующие выносливости и смелости, видимо, готовили в космонавты, ведь его Юрой называли в честь Гагарина. «Дитя песка, он жил ползком», подвергаясь все новым испытаниям: то на прочность канатной дороги через речку Камышинку, то на эффективность тренажера-пропеллера для тренировки вестибулярного аппарата. Вынес все и широкую, ясную грудью дорогу пролОжил себе. Трудно поверить, что этот веселый, большеголовый пацан с серьезными грустными глазами начнет извергать спустя много лет, забыв все беды и несчастья детства, такие тексты:

Чтобы было и мне, и со мной интересно,  
я пишу для друзей бесконечные песни.  
И доносы пишу, увлеченно и много,  
о друзьях и товарищах — Господу Богу.  
Мне так велено было — подробно и честно  
говорить о забытых, больных, неизвестных,  
о далеких и близких, о добрых и строгих —  
обо всех. Непременно торжественным слогом.  
Мне уютно с друзьями в реальности тесной  
и любить, и молиться, и строить совместный  
восхитительный космос, в квартирке убогой,  
подводя непридуманной жизни итоги.  
Я в друзьях растворяюсь и умру. И воскресну.  
Но пока поживу ещё с ними немного.

А за стихами Юрки пошел Бей-Булат, псевдоним, взятый Фомой из-за недостатка авторов (на фото: Фома с нарисованной сажой бородой), для придания журналу солидности и национального колорита.

\*\*\*

Хочу в стихах сказать, чего хочу  
во мною не написанных стихах.  
Хочу в стихах — полуденную тишь,  
хочу в стихах из-под колёс дорогу.  
Хочу в стихах несбыточный Париж,  
индейскую проворную пирогу.  
Хочу в стихах гуденье проводов,  
полночных струн негромкое рыданье,  
чтоб всколыхнулось разом мирозданье,  
помолодев на тысячу годов.  
Хочу в стихах полуденную тишь.  
Хочу в стихах неясную тревогу,  
но ясную и чёткую дорогу  
и голубой, несбыточный Париж.

Далее отдел «Проза».

Поль Стивенсон «Открытие с последствиями». Тоже дебют Фомы в прозе, подражание каким-то велеречивым авторам, по сути — пародия. На фото воображаемый автор с сигарой и «Юманите». Газета на французском языке продавалась в Барнауле, куда мы ездили на электричке за фотоаппаратом «Смена-8», проезжая станцию «Алтайская», где бродил будущий известный поэт-метафорист Ваня Жданов<sup>4</sup>, но о его существовании мы не догадывались...

Далее фотоконкурс «Эврика».

Далее стихотворные подборки: Василий Казанцев, Тамара Горбачёва, Людмила Хлебникова, Леонид Мерзликин.

Далее Стефан Цанев (он же Фома):

\*\*\*

Она озябла, в автобусе холодно.  
Она спешит, отрывая билетки.  
И выйти нельзя ей, она по проходу проходит,  
как птичка в автобусной клетке.  
А пассажиры все незнакомые,  
в окна глядят равнодушные лица.  
И только шофёр сидит, как дома,  
она поближе к нему садится.

---

<sup>4</sup> Иван Фёдорович Жданов родился 16 января 1948 года в селе Усть-Тулатинка Чарышского района Алтайского края, одиннадцатый ребенок в семье крестьянина. Когда Ивану было 12 лет, семья переехала в поселок Белоярск, недалеко от Барнаула. В 16 лет Иван Жданов пошел работать на завод «Трансмаш». Окончил вечернюю школу, первая публикация — в 1967 году в газете «Молодежь Алтая». Далее учился на факультете журналистики МГУ, был исключен. Активно участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы, начиная с 1975 года (совместное выступление в ЦДРИ Ивана Жданова, Александра Ерёменко и Алексея Парщикова). Первая книга «Портрет» принесла Жданову всесоюзную славу, вышла в 1982 году.



Не пренебрегали мы и написанием глубоких философских трактатов, в одном из них, опубликованном на страницах «Суматры», исследовали важнейшую по тем временам «Роль стула в жизни человека»: «Трудно найти что-либо в жизни человека, что по своей необходимости, по своей исключительной важности, могло бы сравниться со стулом. Роль стула в нашей жизни поистине безмерна. Много ли найдется у нас в России домов, в которых не нашлось хотя бы одного стула?»

И далее всесторонне обзревался стул как предмет. Как абсолют, рассматриваемый вне связи с бытовой и общественно-политической жизнью, который нужно познать. Только спустя много лет, присутствуя на лекциях по «современной философии» у непревзойденного Мераба Константиновича Мамардашвили<sup>5</sup>, нашего преподавателя (ВГИК), внимая ему, когда он рассказывал об «Эпифанической ситуации» (Эпифания есть вневременный «процесс», при котором Абсолют — Единое, чистое Бытие — проявляет себя во все более и более конкретных формах. Это переход от интеллигибельного единого к феноменальному множеству, от абстрактного бытия к бытию конкретному, от непознаваемого Абсолюта к познанному. Бесконечный процесс эпифании порождает неисчислимы градации бытия. Но эти различные градации можно свести к нескольким главным, универсальным уровням. Наиболее распространенными схемами таких уровней являются две — трехчленная и пятичленная. Указанные уровни, или миры, часто обозначаются и следующим рядом арабских терминов: хахут, лахут, джабарут, малакут, насут. Все эти уровни объединяются в «совершенном человеке», учение о котором занимает видное место в философских построениях мыслителей суфизма), я вспоминал, радостно улыбаясь, глядя на Мамардашвили, Фому, разглаголящего о функциях, о роли стула в жизни человека.

---

<sup>5</sup> Мамардашвили Мераб Константинович (15 сентября 1930 года, Гори, Грузинская ССР, СССР — 25 ноября 1990 года, Москва) — советский философ, доктор философских наук (1970), профессор МГУ.

Первый номер нерегулярного литературно-художественного журнала вышел в единственном рукописном экземпляре. Для второго номера мы готовили новые материалы и стали искать машинку. Следует сказать, что в те времена былинные любой множительный аппарат стоял на учете в милиции, на самом деле в КГБ, даже в нашем краю, в краю непуганых попугаев. Советская власть бдительно следила за распространением любой информации, не прошедшей цензурной проверки. С любой пишущей машинки брали образец шрифта, записывали ее серийный номер, и эта информация отдавалась специальному человеку. Такая практика существовала вплоть до исчезновения (падения, уничтожения, аннигиляции?) советской власти-матушки, е! Но первую машинку мы добыли... Казалось, откуда можно было добыть пишущую машинку в занесенном снегом рабочем поселке? Но нашлась, нашлась у немца, Вильмана, хоть и был он из волжских, сосланных, но неистребимую любовь к механизмам пронес с собой через страшную жизнь, любовь к философии, чистоте и часовым механизмам. И потому оказалась у него старинная пишущая машинка, в которой не хватало букв: АПРОЛЕНГМИТЬ, тех букв, на которые приходится большее количество тычков. Но что это по сравнению с тем чувством, когда можно было со значительным видом сесть за машинку и задумчиво отстукать: уа...дж..у вс...з д. бр. сыч. ушл. э, дырбулщир какое-нибудь и вставить затем недостающие буквы ручкой. Ради этого, исключительно для красоты картинки, мы стали с Фомой курить трубку, хотя до того не курили вовсе. Мы же к этому времени прочитали все книжки не только в школьной библиотеке, но и в районной, где среди прочих книг открыли и книги Эренбурга, а тот, как известно, с трубкой не только не расставался, но многие герои его тоже, а кроме того, им был написан целый цикл рассказов под названием «13 трубок». Таким образом, мы становились маститыми писателями местного значения.

### **«Фома. Инвалид детства»**

*(написано для одного из номеров «Суматры» о том времени)*

Ж и г а, потомок польских повстанцев, сосланных в Сибирь в 186 ... каком-то году, отличался уравновешенным характером,

мягким юмором, способностями к точным наукам, был он светел, с польским раздвоенным подбородком и внимательными голубыми глазами. Дома у него говорили по-польски, но эта речь носила какой-то очень интимный характер, вряд ли кто-то знал, что у них дома была своя маленькая Польша, впрочем как и у Ц в е г и (Цвенгера) была дома своя маленькая Германия с идеальной чистотой и ковриками на стенках, на которых были записаны предложения готическим шрифтом, типа «гот мит унз», как и у Ч у м ы (Чумаченко) дома стоял щебет Оксаны на мови з матусей, смех со слезой, запах браги, чеснока и сала, у Ф о м ы — вязаные половики, аккуратно сложенные книжки старшей сестры-студентки и всегда доброжелательная речь его родителей. Фома писал стихи и рисовал, и, видимо, от сестры, которая училась в НГУ, он знал о внешнем мире несколько больше, чем остальные, особенно больше Кона, которого звали Чёрным за цыганистую наружность, парня, как считали многие, безо всяких способностей и потому способного на все. Старший брат Кона к тому времени мотал второй срок после срока по малолетке, был известен в криминальных кругах с погоняловом Жора. Жора промышлял разбоем, сел в свое время за вооруженный грабеж — в основном брали машины «Связь», которые перевозили деньги из поселков в районный банк, так производили нерегулярную инкассацию.

Скоро Жора должен был откинуться, как сообщали серьезные люди, которые появлялись вечером в доме Кона в сапогах, ватниках, а через пару дней уезжали в хороших костюмах, модных пальто и обуви. Это были каторжане, сидевшие большие срока по серьезным уголовным статьям, цеховики, медвежатники, ну и просто, кто их знает, мошенники. Они поселялись ненадолго в доме Кона, люди деликатные, образованные, непьющие или очень мало пьющие, и вечерами разговаривали с отцом Кона о политике, исключительно все разговоры были о политике, истории и литературе.

В доме Чёрного Кона был просто салон Анны Павловны Шерер! Жига и Фома приходили к Чёрному потрепаться, так это и называлось, «пойдем к Чёрному потрепаться», и трепались они, ох, как трепались, казалось ни о чем, но о чем — это отдельная тема. Дело в том, что то, о чем они трепались, стало вскоре

реализовываться, и чем дальше, тем больше, чем больше они планировали и фантазировали тогда, тем реальнее оно стало позже.

Фома во время этого трепа занимал, как всегда, ироническую и независимую позицию, он играл Печорина, нет, он тайно играл Лермонтова, демонстрируя замашки Печорина, конечно же, тут были и пресыщенность жизнью, и разочарование в любви, и отчаянная храбрость, что проявлялось больше в игре в футбол, но уши Лермонтова виделись во многом: и в рисунках, которые он набрасывал в записной книжечке, и в стихах, отрывочных строчках, зачеркнутых-перечеркнутых.

Стоит мне, блондину, лирическому герою, протянуть руку и достать эту коричневую записную книжку, как я выхватываю наугад строчки, вот сейчас: «...когда сомнение придёт, когда отчаянье придёт, себя сумеете пересилить, сумеете карандаш не бросить, пишите, будете правы...» Вот такие строчки, помеченные 8 мая 1966 года.

\*\*\*

Мы большие и маленькие.  
Мы качаемся плавно.  
Мы не люди. Мы маятники.  
Это самое главное.  
Мы живём ощущением  
необычного мига —  
прохождения линии,  
понимания мира.  
Мы живём не из корысти,  
наша участь известная,  
мы проходим на скорости  
наслажденье отвесное.  
Мы не славим молчания  
измеренья четвёртого.  
В мёртвых точках качания  
мы действительно мёртвые.  
Мы качаемся, странствуем,  
ограничены крайне.

Мы стремимся из крайности  
в неизбежную крайность.  
Предвкушенье фиктивное —  
к необычному ринуться,  
суждено нам фиксировать  
только плюсы и минусы.  
Только точки молчания.  
И об этом рассказывать.  
А момент понимания  
суждено нам проскальзывать.  
А момент равновесия  
удивительно маленький.  
Нам живётся невесело —  
мы не люди, мы — маятники.  
Запасёмся терпением,  
ночи зимние длинные.  
Мы живём ощущением  
продолжения линии.  
Мы её догоняем,  
объясняем, стараемся.  
А когда затихаем,  
с ней зачем-то сливаемся.  
Мы большие и маленькие,  
мы качаемся плавно.  
Мы не люди, мы — маятники.  
Это самое главное.

«Чёрный Кон имел свою комнату с видом на шоссе на доро-  
гу, ведущую, кажется, к Чуйскому тракту, а за дорогой было  
картофельное поле, за ним согра, болотце с багульником, куда  
прилетала тьма уток, дальше взгорок, а за ним — речка Камы-  
шинка, тоненькая, но с обрывистыми крутыми берегами, мы  
там находили свинцовые пули с оболочкой, в этом месте красные  
расстреливали белых, а когда власть менялась, белые расстре-  
ливали красных. Был случай, кода дядька расстрелял племяша,  
а через некоторое время другой племяш пристрелил его и утопил  
в проруби».

А мы там с Фомой, Коном и Жигой ловили окуней, а чуть выше, под мостом, где речка разливается по камешкам, ловили щучек, накалывая их вилками, как острогой. Дальше за Камышинкой, за мостом, был татарский аул, на самом деле не татарский, а жили там алтайцы, спустившиеся с гор зачем-то, очень добродушные, пьющие парни и мужики, бабки в цветастых нарядах курили длинные трубки и доверчивые девочки, наивные, дружелюбные, легко прощающие обиду и обман. Там дневал и ночевал Чика, любитель первозданных любовных утех и времяпрепровождения.

Камышинка впадала в Чумыш, вытекающий из Салаирского кряжа, нагорья, туда, туда были устремлены наши очи, что там? Нас манили эти названия, эти имена, прислушайся: Са-ла-ирский кряж, или: Игарка, Ма-ма, Бука-чача, Ду-динка, так же манили, как у любимого Джека Лондона, Ориноко или: Техас, Калифорния, Массачусетс, ходит из края в край, есть деньги — ол райт, нет денег — ол райт!

\*\*\*

Я маленький Колумб,  
малюсенький колумбик.  
О, я совсем не глуп,  
я величайший умник.  
Что толку на мели  
загнуться в океане?  
Америки мои  
вмещаются в кармане!  
Смотрите: я велик,  
но вы меня простите,  
мне скромность не велит  
носить высокий титул.  
Смотрите, я какой,  
зажав под мышкой берег,  
свободною рукой распахиваю двери!  
Зову из тёплых ванн  
в открытый и блестящий,

я открываю вам  
безумно настоящий.  
Входите, о-ля-ля!  
шикарная премьера.  
Инкогнито земля,  
неведомая терра!  
Что толку на мели  
загнуться в океане?  
Америки мои вмещаются в кармане.  
Я их наоткрывал  
за столько лет немало,  
но только с покрывал  
срывая покрывала.  
(Я думал: открывал,  
а вышло, вот беда-то,  
переименовал открытые когда-то.)

А Чумыш впадал (и впадает! до сих пор!) в Обь, а там Барнаул, Барнаул, большой аул, там город, там театры, кинотеатры, вокзал, аэропорт, и достаточно, это уже край земли, это уже большой мир, дальше не поедем, думали мы, там нам делать нечего.

Однажды наш класс за хорошее поведение повезли в Барнаул на культурную (!) встречу, встречу с кинематографистами. Никакого такого пиетета никто не испытывал, в том числе я, а особенно Кон, он завязался языком с каким-то шоферюгой, а я пялился глазами на тетку, которая была в шляпе, этого я не видел по жизни, тетке было лет тридцать, пожившая тетка вела себя, словно она еще не перешла в среднюю школу, застряла между восьмым и девятым по слабости здоровья, она делала странные жесты и гримасничала, словно ее что-то корежило внутри, но оказалось, так и надо было: тетенька работала артисткой. Затем, когда нас запустили в зал, на сцене сидела она же, с ней человек пять мужиков в кожаных пиджаках, седых, солидных, важных, а сбоку-припеку сидел, опустив голову, тот, как бы шоферюга, сжав между колен жилистые руки и чувствуя себя явно не в своей тарелке, оно и понятно.

Спустя годы после этих событий я, лирический герой этого правдивого повествования, я, голубоглазый блондин, прошедший огни, воды и медные трубы, повидавший в том числе и всех кинематографистов не только родной страны, но и дальнего зарубежья, никогда больше не встречал этих важных седых мужиков в коже, встречал похожих, как не встретил ни их, ни артистку нигде, а вот шоферюга-то оказался непрост, правильно прилип к нему Кон, почувствовал родную мятежную душу. Это был Шукшин. Недаром тетки шептались: «А Вася, Вася-то с ними!» Это может понять не всякий, а кто правильно понимает, тот, следовательно, правильно толкует и чувствует известное: нет пророка в своем отечестве. Это не касается тех, кто там не жил, а там — это в России. Эта тоска и боль только у нас, болезных, у нас только с детства заниженная самооценка, потому как мать в детстве ушибла, ну не мать, да кто-нибудь да ушиб пыльным мешком по голове, нарочно или ненароком.

\*\*\*

Как тишина зализывает краски  
большого города, где всё не наяву!  
Где фонари, витрины, словно маски,  
где вечера не преданы огласке —  
где я мечтой пронзительной живу.  
Туда, где тень и свет роняет звуки,  
и лица повторяются в словах,  
беги, отринув мнимые заслуги  
и темноты невидимые слуги,  
пусть под вуаль драпируют дома.  
Бери на выбор письма листопада  
и, разобрав их медленную вязь,  
постигни смысл теории распада  
времен и душ, чья вечная лампада  
в один светильник разума влилась.  
Бульвары спят с открытыми глазами  
витрин, остекленелых на ветру,  
всё то, что камни здесь пересказали,



вдруг оживёт страницами сказаний,  
благословив пера нелёгкий труд.  
Его мосты чугунными прыжками  
настигли берега иных забав,  
и, сжатое железными тисками,  
тугие кольца смысла распуская,  
упало время каплями со лба.  
Театр жеста, лёгкий и прозрачный  
под балаганом рваных облаков,  
сметая рухлядь декораций мрачных,  
ты жизнь играл! И темы равнозначной  
не сыщешь в мифологии богов.  
Чуть смежив веки, остывают рампы,  
сорвались с крыш виденья сладких снов,  
усталые распахивает рамы  
мой город, осмеявший дифирамбы  
и скучную напыщенность основ.

Но я не о Барнауле, леший с ним, там мой дальний родственник, дед Кузьма, работая извозчиком, ноги потерял, отморозил, и отрезали ему их по колени, туда едут пацаны учиться в ПТУ, затем возвращаются, приблатненные, на муху «падла» говорят, на сало — «бацилла», не о том я направлении, не о Западном. О нем будет потом, а пока о Восточном.

И куда же ты пошёл,  
такой вот, косолапый,  
одной ногою на Восток,  
а другой на Запад...

## **Брату Юре. Громы**

В белых нежился подушках  
Тарамбах — весёлый гром —  
до обеда, а потом  
целый час палил из пушки,

колошматил в колотушки,  
лес подёргал за верхушки  
и за речкой, на опушке,  
над берёзовой верхушкой  
расколослся пополам  
на Бабах и Тарарам.  
Тарарам из лесу вышел,  
влез на дом, скатился с крыши,  
через поле и бугры,  
натолкнулся на обрыв,  
натолкнулся, оглянулся  
и опять помчался в лес.  
Не пробился, отразился  
и на облако залез.  
А Бабах пошёл туда,  
где гудели провода.  
Докатился до дороги,  
по дороге до села,  
где работала пила.  
А потом устали ноги,  
на пороге посидел,  
на дорогу поглядел.  
Звякнул стёклами в окне  
и растаял в вышине.

### **Из «Суматры», номер утерян**

«...Не говорите мне о Москве, которая нам являлась по утрам,  
в шесть часов, независимо от времени года с бодрым голосом:

— Говорит Москва! Доброе утро, товарищи. Начинаем производственную гимнастику! Ноги на ширине плеч, руки в стороны, и-и- начали, р-раз!»

И вся многомиллионная Россия охренивала. Выползали под эту бодрую музыку из забоя черные шахтеры, доярки, уже давно закончившие дойку, торопились домой трясти похмельных мужиков, кормить детей, рыбаки, выбрав дель, забивали до жвака трюма живым серебром, на кораблях играли подъем, и сотни ног в тяжелых ботинках грохотали по стальной палубе, зэки, ежась и матерясь,

становились на переключку... Страна, не проспавшись, начинала свой тяжелый рабочий день, «когда выходит на работу с похмелья яростный народ».

А из Москвы неслось радостное, бодрое, счастливое:

— Е-ще раз! И переходим к водным процедурам.

Ну, никто, убей, не знал, что такое водные процедуры! Умывались, конечно, зубы чистили. Ну, не все, но водные процедуры — это было что-то особое, как бы медицинское, виделись шланги какие-то, как в медпункте, и всех там, в Москве, промывают, для здоровья, для здорового образа жизни. Нам это как бы до фени, мы просто живем, а им нужно. Они все как бы правительство или при правительстве. И когда в школу по распределению из Дубны, ну, Москва, прибыла учителька (Людмила Федоровна) с мужем-физруком, это было шапито-шоу, на них смотрели, как на редких благородных цирковых животных, которые еще и говорят, но решили: нормально, пусть, так надо. Когда же стали высылать тунеядцев (дармоедов)<sup>6</sup>, то народ поимел культурный шок.

Особенно лютовала Бедариха, та, про которую Федька Чика, Чикиндроллиз сочинил частушку: «Самолет летит из Америки, Бедариха сидит, вяжет веники!» Так вот она кричала, что привезли из Москвы яуреев, тунеядцев, прямо с телегами и лошадьми, детьми и бабами, свалили их в Уляхин лог и они там теперь будут жить.

Яростный и неподкупный авантюрист Кон, Чёрный, сблатовал нас с Фомой сходить вечером к ним и посмотреть, что за народ такой, чем живет, познакомиться. На всякий случай взяли кастеты, засунули по финке с наборной ручкой в сапог, приделались в ватники с нашитой изнутри жестяной (прообраз бронежилета) и покендюхали.

Первым на разведку пошел Чёрный, он соврал, что его предок был наказным атаманом и большим специалистом по переговорам

---

<sup>6</sup> Интересно, что в советском союзе всем лицам, обвиненным в тунеядстве (ст. 209), присваивали аббревиатуру «БОРЗ», которая расшифровывалась как «без определенного рода занятий». Впоследствии в обиходе появился жаргонизм «борзой».

с турками и ляхами, поэтому наказал нам подождать с полчаса, он прикинет пятку к носу, подготовит почву и даст знак. В тишине, наполненной бесшумной жизнью, вдруг послышался звук лопнувшей струны.

— Басовая, — сказал Фома.

Спустя некоторое время раздались выкрики множества мужских голосов на непонятном языке, звонком, словно кто-то бил стеклянную посуду, стеклянную, оловянную, деревянную, а затем словно кто-то разбил чугунный котел, и все стихло.

— Санскрит, — сказал Фома.

— Что санскрит? — спросил я его, полыхнув, словно угольком из костра, своим глазом героя, осветив лицо Фомы. — Что это значит?

— Санскрит — это праязык индоевропейских народов.

— Ты не путаешь? — не желая ударить в грязь ничем перед заносчивым Фомой, спросил я иронично. — А не идишь? Не иврит, например?

Но спора не получилось, с Фомой спорить, что вшей набираться, не получилось потому, что из кустов вывалился Чёрный, у которого одежда и так всегда в дырках, словно он по ночам бегал по кустам, а тут вообще была в лохмотья. Губы у него раздулись, как разваренные пельмени, покусанные до того пчелами, глаза превратились в щелочки, что родило его с парнями из соседней алтайской деревни, а в правой руке, распухшей до синевы, намертво врос кастет. Он попытался его снять, дул на него, потом поплевал, но вместо полноценного плевок у него получился звук, словно он запрягал лошадь: тпrrру.

Он протянул нам с Фомой руку, чтобы мы поплевали, но Фома с омерзением отвернулся, и плевать стал я.

Этого было недостаточно, кастет все глубже уходил в распухшие пальцы, казалось, что он на глазах вращался в руку, как вращает ствол дерева в кладбищенскую решетку.

— Так и ходи, — съязвил Фома, — скажешь, что родился с кастетом.

— Давай, — не обращая внимания на иронию приятеля, сказал он мне.

— А сам? Что сам не можешь?

— Я уже, — показал Чёрный глазами на мокрые штаны.

Я посмотрел по сторонам, не видит ли кто этого позора, заметил, что Фома незаметно исчез, ничего никому не сказав, что для него было характерно.

Он любил так: появиться неожиданно со всезнающим глубокомысленным видом, помолчать или что-нибудь значительное сказать, а затем так же исчезнуть, показывая своим видом, что он совершенно независимый человек, и вообще, человек ли он? Он как бы представлял из себя в это время печального демона, духа сомнений, летающего над грешной землей.

Короче, он исчез, а кастет, соответственно, смочив мочевиной, мы благополучно сняли. Чёрный, положив правую руку на левую, прижав к сердцу, как носят ребенка женщины (потом, спустя годы, так ему пришлось носить автомат), настороженно отдыхал, что-то соображая.

И мы пошли тропой Хошимина, в полной темноте, полагаясь только на звериное чутье Чёрного. Издалека доносились звуки, словно журчал ручей или творил молитву мусульманин, неясно, неясно чужому слуху о чем.

Но через некоторое время слышались в этом бормотании отдельные слова, которые вскоре уже стали объединяться в отдельные словосочетания, а затем и в целые фразы:

\*\*\*

Презрев запрет сверкающих зеркал,  
я к вам пришёл из глубины зеркальной,  
где много лет безмолвно и фатально  
я издыхал, как будто отдыхал.  
О, я для вас древней, чем бронтозавр,  
с печальной улыбкой фантазёра,  
меня вы называйте бронтозёром,  
я отзовусь на кличку фантозавр.  
Меня зовут неразделимый бог,  
в моем боку отверстие, мне больно,  
я улыбаюсь, зажимая бок  
божественною белою ладонью.

Понемногу стал виден маленький гаснущий костерок и отдельные освещенные им фрагменты тел, лица, высветленные снизу, кажется, состоящие из одних губ, щек и глаз, ушей, запутавшихся в черных волосах, руки, кисти рук, удлинненные, словно у прищельцев, пальцы, босые ноги и лодыжки — все это, казалось, существовало по отдельности и шевелилось само по себе.

Меня убить непросто будет вам,  
я в вас, во всех, заложен от рожденья.  
Ведь я сказал, я только отраженье,  
какой же смысл стрелять по зеркалам?

Голос смолк, части тел пришли в движение, ладони стали порхать, словно встревоженные птицы, сверкали угольки глаз, глаз оказалось много, и создавалось впечатление, что кто-то пнул нечаянно в темноте пень со светлячками и они брызнули в разные стороны, как это бывает, когда идешь ночью по тайге.

Мы с Чёрным подползли поближе, но однохренственно виднее не стало. Только тут мы заметили затаившегося Чику, который подглядывал за другим костерком, у которого собрались молодые яурейки, они болтали и тихонько посмеивались.

Было ясно видно одно: яуреи плотно сидели у костра, образуя concentрические круги вокруг Фомы, как и положено в такого рода ритуалах, а то, что это ритуал желтой мессы, сомнений у меня не было, мой дед Кузя, Кузьма Иваныч, еще не такие ритуалы видывал, когда был извозчиком в Барнауле, и много чего об этом рассказывал.

Говорили они между собой явно на праязыке, санскрите, хотя иногда прорывалось ептворюмать, тухес, портомолето, впрочем, кто его знает, на самом деле, что достоверного в этом, мало ли кто кого не епт в исторической обратной перспективе.

После некоторой паузы, пока из рук в руки передавалась чаша, сделанная наподобие черепа Горгозы Медуны, а может, на самом деле это был и настоящий ее череп, опять голос забормотал, причем с интонациями Фомы. Чёрный глянул на меня, при отраженном свете костра я видел его глаза и понял, что и он смекнул это.

Схватили парня и зажали рот,  
 и вывернули руки, и покуда  
 сбегался, улюлюкая, народ,  
 всегда до зрелищ падкий, и покуда  
 искали гвозди, волокли пилу,  
 покуда где-то спрятавшись в углу,  
 монеты пересчитывал иуда,  
 покуда, озверев от торжества,  
 под ним толпа гудела, напирая,  
 любовь росла, вздымалась, выпирала,  
 и приняла размеры божества.  
 А сам не бог, а человек из плоти,  
 с губой, разбитой в кровь под бородой,  
 улыбку мучил, сильный, молодой,  
 не смерть была страшна, был страшен плотник,  
 с размаху гвоздь вгоняющий в ладонь, —

читал наизусть текст Фома притихшим яуреям, и только пощелкивание в костре, словно работал счетчик Гейгера, выдавало напряжение у собравшихся.

— Оба-на, — прошептал Чика, отползая, — уносим ноги.

— Чего так? — спросил я его.

— Не переносу всякую чертовщину, ну ее в пэнь! — и стал полегоньку отползать.

— Да ты просто стихов не любишь, не понимаешь, потому что ты тупой, — сказал я ему, придерживая за ногу, чтобы он не уполз.

— Почему это я не понимаю? Почему это я не люблю?

— Да ты ни одного стишка наизусть не помнишь, не смог выучить, сколько нам ни задавали.

— Да, бля, я выучивал, но сразу забывал, потом вспоминал неожиданно, да не в том месте, например, в женской бане.

— Ты ходишь в женскую баню?

— Да, а что? Хожу, что в этом удивительного, — спросил Чика. — Ой, вспомнил, вспомнил его стих, он мне написал на день рождения в открытке. — Чика закатил глаза и велеречиво произнес:

Храни нас бьющих путь по бездорожью  
 дыханье облакающих в слова  
 храни нас бог навеки от безбожья  
 неверие храни от божества  
 вдохни нам жар в заснеженные очи храни нас снег  
 от жаркого огня храни нас день от затемнения ночи  
 храни нас ночь от ослепления дня храни нас свет,  
 храни нас свет от тени  
 храни нас тень от полной чистоты храни азарт от пу-  
 стоты и лени  
 храни нас лень от праздной суеты.

Загрустил вдруг Чика и отполз в кусты, в темноту.

У костра произошло легкое замешательство, по кругу пошел гулять ковшик, который обычно используют в бане, чтобы плеснуть воды на раскаленные камни, часто, зачерпнув воды, отхлебываешь жадно пару глотков, чтобы унять внутренний жар, а затем уже используешь его по назначению. Тут же ковшик служил круговой чашей, все по очереди, начиная с Фомы, стали отхлебывать по глотку по кругу, пройдя один круг, ковшик возвращался обратно к Фоме, тот отпивал, скосооблившись, и передавал на следующий круг. До меня с Чёрным донесся запах одеколона, но марка его мне была неизвестна, и я предположил вслух, что одеколон французский, на что Чёрный возразил, что вряд ли, скорей всего, нашкуляли пузырьков, слили в один тазик и теперь запузывают, е-мое, дальше некуда, вот и шмонит на всю округу.

Дальше сидеть в темноте не было смысла, и мы оба-два свалили оттуда, пока не были обнаружены и не получили еще, как говорится, по первое число, неясно, почему по первое, а не по второе или третье, но мы ночными змеями уползли из Уляхиного лога и вышли к людям, к свету и цивилизации местного значения. В ее обличии снова оказался Чика, мерзейший из нашего ближнего круга тип, но терпеть его все-таки приходилось всем, потому как он занимал свое прочное законное место, нишу в экологическом балансе нашей стаи.



Обозначить, что именно значил Чика для всех нас, было трудно, но если попытаться, то можно нарисовать абрис следующего содержания: все, что было связано в окружающем мире со взаимоотношением полов, размножением, особенно человеческих особей, все это напрямую касалось Чики, все это он замечал, фиксировал, объяснял, пропагандировал, размышлял над этим и стремился всегда к этому. Кто-то родился с музыкальным слухом, становился гармонистом, а то и в перспективе в переходах играл на гитаре за деньги, кто-то, как Фома, мог говорить стихами, как только родился, и у него пошли первые слова, причем такие слова, что он и сам не понимал их смысла и значения, единственно, что он понимал, что сии слова что-то значат, и не просто значат, а значат многое и пришли к нему не просто так, а с определенной трансцендентной или трансцендентальной целью, трудно не перепутать эти определения, но примерно так, и он внимательно относился к тому, что ему было сказано этими словами, иначе как же? А вот Чика родился с совсем иным даром, причем ярко выраженным, не менее чем у Фомы, может, поэтому они как-то тянулись друг к другу и понимали один другого. Часто их можно было заметить гуляющими вместе, причем Чика говорил про одно, а Фома про другое, а в результате оказывалось, что они говорят про одно и то же, но только сокровенное...

...Вот идут Фома с Чикой, а по обочине сопровождает их пес Миха, бредут они в своих кирзовых сапогах из-за непролазной осенней грязи, а мостки, деревянные мостовые появятся только весной, когда будет половодье, когда растаявший снег превратится в огромные лужи, лывы, и добраться до магазина, школы, работы станет невозможно, все будут ходить по ним, быстро и грубо сколоченным, затем к лету плахи и горбыль разберут на хозяйственные нужды жители. А по осени же все улицы представляли из себя перепаханное пьяным пахарем поле.

Вот бредет Фома, Чика матерится, Миха лает на трещащих сорок, а он бредет и читает Чике стишок, стараясь не застрять в колдобине и не потерять сапоги, читает текст, который имеет отдаленное, на первый взгляд, отношение к происходящему:

Это пёс Михаил, и под запахом псиним  
 нераскрытой души его плыл махаон.  
 Это пёс Михаил, это есть патефон,  
 а куда подевать эту странную силу?  
 Что исходит от вас, удивительный пёс?  
 Вы идёте, когтями по доскам стуча,  
 мы так здорово вместе умеем молчать,  
 чёрт возьми, неужели всё это всерьёз?  
 Посмотри на меня, это я неудачник,  
 ты, конечно, умён, просто ты не знаком  
 с этим миром, а в нём каждый третий — собачник  
 с отвратительным чёрным крюком.  
 Ваши грустные песни летят до луны.  
 Человеком не стать, ваша песенка спета...  
 Я не знаю, дельфины, возможно, умны,  
 но они — технари, а собаки — поэты.

— Так вот я и говорю, только мы с ней решили, — Чика фразу не окончил, так как сзади послышались шлепки босых ног по осенней грязи, мимо них, срезая поворот, несся Иван Абрамович, школьный учитель по кличке Максвелл, в закатанных до колен штанах с закатанными вместе кальсонами, так что казалось, будто он обут в высокие ботфорты. Он уже вошел в период осенне-зимних штормов и бежал догнаться брагой к доброму татарину Хусаинову, который никак не мог выгнать из нее чимергес, косоротовку, так как не успевала она дозреть из-за доброты его душевной и неспособности отказать другу своему, учителю физики и математики, умнейшему человеку на ближайшие десять километров, вплоть до райцентра.

— И что вы с ней решили? — грозно уставился на Чика Иван Абрамович, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. — Ну да, вы решили с ней, а вот знаете ли вы с ней об электромагнитной природе чувств? Электромагнитную теорию сформулировал кто? Правильно, Максвелл, Джеймс Клерк, а ее же, цветовой волновую, в области взаимоотношения полов,

кто? Правильно, я, Иван Абрамович. Не веришь? А ты подумай, подумай сам своей башкой, — высокий Иван Абрамович склонился над Чикой, положив на его голову мощную лапу. — От ультра-красного, невидимого, тревожащего первого чувства к оранжевому, желтому, зеленому — радостному, голубому — счастливому, синему — ровному, равнодушному и фиолетовому, ультра-фиолетовому, невидимому, ушедшему навсегда, но оставившему в душе неизгладимый след. Вот тебе и радуга, вот тебе и семь цветных карандашей! Думай, завтра на уроке спрошу! — и Максвелл помчался дальше к покосившейся калитке своего друга, который уже выглядывал его из-за занавесочки, укоризненно покачивая головой. Друг его был учителем его дочки и неимоверно ее домогался. Другой бы сказал, что учитель был безответно влюблен в нее, но слово л ю б о в ь — слово опереточное, перешедшее в лексикон наодеколоненного обывателя, деликатный народ это чувство старается не обозначать прямо. В семье у Чумы было выражение «Вин ии жалие», старославянское — он ее жалеет, желает, жалеет и жалит, сколько смыслов в этом и широты с глубиной.

\*\*\*

В стране семи цветных карандашей,  
где лунный свет тонюсенький, как волос,  
мы ловим зарождающийся голос  
отверзнутыми ранами ушей.

В стране семи цветных карандашей,  
где лунный свет тонюсенький, как волос,  
где застывает капельками голос,  
серёжками на кончиках ушей.

В стране семи, в стране семи цветных  
карандашей, в стране карандашиной,  
забрызганные известью машины  
летят сквозь разлинованный цветник.

А у мышей стеклянные глаза.

Пристреливая загнанную лошадь,

мы выбегаем радостно на площадь,  
а площадь нам бросается в глаза  
пустынностью. Полно было людей,  
и надпись вдруг нас углубиться просит  
на площадь, именуемую «Площадь  
Всех загнанных на свете лошадей».  
И тени лошадей бредут по кругу.  
Безмолвный, отрешённый карнавал.  
И мы в глаза не поглядим друг другу,  
поглубже гильзы спрячем мы в карман.  
И жаром задохнувшийся цветник.  
И небо из тугого крепдешина  
в стране семи, в стране семи цветных  
карандашей. В стране карандашиной.

— Ага, — сказал Чика, проводив завистливым взглядом Ивана Абрамовича, — ага! — дело в том, что по какой-то причине Чика никак не мог подобрать слова, что он хотел выразить, да и особо не пытался, ему хватало жестов для обозначения тех действий, которые происходят между мужским и женским началом, между Инем и Яном у всех видов живых существ, от букашек до людей, просто человекообразных обезьян, по мнению Чики. Мало того, следы этой деятельности он находил и в явлениях природы, ураганах, бурях и катаклизмах, что поднимало его мироощущение до беспредельных высот, в отличие от философов конца XX века, его мировоззрение из себя представляло целостный характер. Все учение он мог описать тремя буквами. Щелканье указательным пальцем правой руки по большому пальцу левой всегда сопровождалось словами трата-та, он комбинировал буквы т, р, а на разные лады, из этих трех букв складывалось все то, что он хотел выразить.

Трата-та мышь, ратат-та гнида,  
трата-та северный олень,  
тра-та соседка Степанида,  
а так же все, кому не лень.

Так он мог описать все, что происходит в кино<sup>7</sup>, театре, опере, балете, особенно, конечно, в балете.

Спустя некоторое время мы, в поисках Фомы, выбрались к крутому склону Уляхина лога, с другой стороны, ближе к дороге, где начинался обрыв с обнаженной структурой синклиналей и антиклиналей. Нашему взору — иначе не скажешь, стоя на краю бездны, глубже этого оврага никто никогда в жизни не видел, — открылась чудовищная картинка брошенного лагеря ягуреев.

Везде валялись остатки их пребывания здесь: бесхозные кибитки без колес, отдельно валяющиеся колеса, обломки музыкальных инструментов, виденных нами впервые, таких как клавиесин, мятые медные трубы, орган, гитара, бубны, жалейки и тромбон, — все говорило о том, что они в спешке покинули эту стоянку, взяв только необходимое, остальное переломали, чтобы никому не досталось, но можно было подумать, что просто это все они взять не смогли, потому что их самих взяли, кто его знает, что творится в таких местах, особенно поздно ночью или очень рано утром.

С трудом мы спустились по обрывистой стене оврага, цепляясь за корни багульника и рискуя свалиться вместе с почвой, именуемой алювием или делювием, смотря по обстоятельствам, но неважно, падение с такой высоты радости никогда не приносит, хотя откуда только падать ни приходилось в ту пору, в ранней юности, самое простое — с обрыва. Чика сновал среди обломков быта, выискивая что-то, разглядывал брошенные вещи, рылся в обгоревших книжках. Видимо, книжками ягурей растапливали костер, предпочитая их бересте и щепе, но почему

---

<sup>7</sup> Кстати о кино: И «Анна Каренина», «В огне брода нет», «Война и мир», «Его звали Роберт», «Женя, Женечка и «катюша»», «Зеленая карета», «История Аси Клячиной», «Комиссар», «Майор Вихрь», «Свадьба в Малиновке», «Седьмой спутник», «Три тополя на Плющихе», «Фокусник», «Хроника пикирующего бомбардировщика» — все это было на экранах страны, но этого мы не видели и журналов про кино не читали в нашем краю вечнозеленых помидоров.

некоторые частично только обгорели, было загадкой, похоже все же, что они попытались сжечь их. Мало того, что написаны они были совершенно на непонятном языке, да на языке ли? Просто на пожелтелых листах рядами расположились значки, напоминающие буквы, но ни одной знакомой не было, некоторые книги были написаны цифрами, а многие вообще, вместо букв имели дырочки, предназначенные явно для слепого чтения. Это наталкивало на мысль, что яуреи были чернокнижниками и не только оттого, что корочки книг почернели от копоти, книги, читанные при свете костра, при свете свечи темнеют, особенно если у них переплет сделан из кожи, но дело не в темном цвете книги, а в ее содержании. От всех этих книг веяло кладбищенской вечностью и ночными кошмарами.

Чика собрал все, что мог собрать, что представляло для него какой-то интерес, и мы пошли с этими вещдоками к Чёрному Кону. Тот, выросший в криминальной среде, умел разобраться в таких вещах, о которых мы понятия не имели. Чёрный делал первые успехи на этом поприще и, по всему виду, связывал свои дальнейшие жизненные планы с этой деятельностью. Это проявлялось во всем, все его повадки выдавали в нем будущего криминального лидера. Всегда создавалось впечатление, что он знает несколько больше, чем остальные, но знает не из области прогрессивных наук, ведущих человечество к счастливому будущему, а просто, по бытовухе, стоит ему сообщить, что кто-то ночью обнес киоск с керосином, и хотя урон был небольшим, унесли мелочь деньгами да топорик, как он понимающе кивал, и еще Чёрный обладал совершенно непонятным качеством, его никогда никто не хотел отметить, даже просто так, по ходу дела или между прочим, с ним не хотели в этом смысле связываться, от него веяло чем-то таким, что любая бочка катилась мимо него, а брагой дышали совершенно в другую сторону.

Школа была окончена. Чёрный Кон яростно запустил в кусты ненавистный учебник математики. Это было, пожалуй, самым примечательным событием дня.

А в это время в разных местах родились ныне известные деятели, тогда младенцы, горький плач которых можно было бы услышать, приведись случайно оказаться в месте их рождения.

Рената Литвинова, российская актриса. Олег Куваев, мультипликатор, режиссер, создатель сериалов «Масяня». Евгений Гришковец, российский драматург, режиссер, артист. Богдан Титомир (Олег Титоренко), поп-певец. Дмитрий Нагиев, российский актер, телеведущий. Шерил Ли, американская актриса (Лора Палмер в сериале «Twin Peaks»). Виллем-Александр, король Нидерландов с 2014 года. Филипп Киркоров, российский эстрадный певец, продюсер. Фёдор Бондарчук, российский режиссер, актер. Мария Шукшина, российская актриса. Елена Воробей (Лебенбаум), российская артистка эстрады. Николь Кидман, австралийская киноактриса. Рихард Цвен Круспе, немецкий музыкант, гитарист группы «Rammstein». Памела Андерсон, канадско-американская актриса. Жанна Агузарова (Иванна Андерс), российская певица. Вин Дизель (Марк Синклер Винсент), американский актер, сценарист, режиссер, продюсер. Тимур Кизяков, российский телеведущий. Джулия Робертс, американская актриса. Франсуа Озон, французский сценарист, кинорежиссер. Анна Николь Смит (Вики Линн Маршалл), американская модель, актриса. Дмитрий Львович Быков (Зильбельтруд), российский поэт, писатель. Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2007, 2008–2013).

Им еще нужно было научиться ходить, говорить, потом пойти в школу и прожить в ее стенах целую жизнь, стать там двоечником, троечником или отличницей, подружиться на всю жизнь с кем-то, а с кем-то ненадолго стать врагом, много-много чего им придется испытать, а у нас все это было уже позади. Впереди была неизвестная жизнь. Некоторые решили поступать в институты и даже в университеты. Многим это удалось, например Жиге, кажется, на физмат, Тамаре, сестре Фомы, на какой-то затейливый факультет, в названии которого присутствовало загадочное слово «лингвистика», Фома вдруг вдохновился словом «архитектура» и ринулся в Энск сдавать экзамены. Остальные же, Чика, Чёрный Кон и автор этого правдивого повествования и многие другие отдались жизни такой, какая есть, перспективе, обычной для парня тех сказочных мест: если не успеют посадить в тюрьму, то тогда заберут в армию, а там уж можно начинать жить.

*Продолжение следует.*